Александр Куприн

# Психея

# Александр Иванович Куприн
# Психея

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2474145*

## Аннотация

«23-го ноября. Мне каждый мог бы задать очень простой вопрос: для чего я опять принялся за дневник, который начал и бросил лет пять тому назад? И в самом деле, нет ничего смешнее мысли писать дневники и автобиографии. Во-первых, смешно уже то, что у всех у них одинаковое начало: первым долгом сочинитель всеми святыми божится, что пишет не для публики, а исключительно для своего личного удовольствия. Для того, чтобы я, мол, уже будучи маститым старцем, убеленным сединами и окруженным толпою розовых малюток, мог опять пережить и перечувствовать то, что чувствовал некогда цветущим юношей, и чтобы одинокая слеза воспоминания… или как это обыкновенно пишут в этих случаях?..»

# Александр Иванович Куприн

# Психея

23-го ноября. Мне каждый мог бы задать очень простой вопрос: для чего я опять принялся за дневник, который начал и бросил лет пять тому назад? И в самом деле, нет ничего смешнее мысли писать дневники и автобиографии. Во-первых, смешно уже то, что у всех у них одинаковое начало: первым долгом сочинитель всеми святыми божится, что пишет не для публики, а исключительно для своего личного удовольствия. Для того, чтобы я, мол, уже будучи маститым старцем, убеленным сединами и окруженным толпою розовых малюток, мог опять пережить и перечувствовать то, что чувствовал некогда цветущим юношей, и чтобы одинокая слеза воспоминания… или как это обыкновенно пишут в этих случаях? И начинает гарцевать и рисоваться, да еще по дороге к этим почтенным сединам он тридцать раз перечитывает свои воспоминания, никому, кроме него, не интересные, и перечитывает непременно какому-нибудь застенчивому и воздушному провинциальному созданию, которое будет трепетать от наплыва неизведанных ощущений и потихоньку до слез зевать в платок. Как это, ей-богу, гадко, что самые умные люди готовы смаковать свои личные ме-

лочно-интимные ощущеньица и находить в них особенный вкус и толк!

Что касается меня, то дневник этот мне чрезвычайно важен, и читать я его никому уже, конечно, не буду.

Сегодня доктор сказал мне, что при том образе жизни, который я веду последние три года, то есть при постоянных голодовках, бессонницах и непосильной, почти лошадиной работе, у меня может произойти переутомление нервной системы. Как этот модный доктор ни миндальничал за мои кровные пять рублей (он даже советовал мне в Крым ехать для развлечения, а мне не на что калош себе купить!), однако я очень хорошо понял, что мне грозит сумасшествие. Тем более, что все мои почтенные предки были страстными алкоголиками и безумцами. В эту тетрадь я буду записывать все свои мыслишки до тех пор, пока не замечу уже слишком явных несообразностей. А тогда… Тогда либо в больницу, либо, если хватит воли, пулю в лоб.

26-го ноября. Чья это несправедливость? Я безусловно обладаю сильным и оригинальным талантом; перед собой-то мне уж рисоваться незачем. В этом убеждении меня укрепляет, конечно, не золотая медаль, присужденная мне академическим советом, с которым я имею основание расходиться во взглядах на искусство, и не отзывы газетных критиков. Я уже не мальчик и умею оценить все это по достоинству, потому что «людская честь бессмысленна, как сон». Но я чувствую в себе присутствие мощного, напряженного

творчества, взгляд мой быстро и точно улавливает мельчайшие детали предметов; наконец, мне никогда еще не приходилось насиловать своего воображения, чем так страдают художники в погоне за темами. Исполинские мысли, одна другой смелее и оригинальнее, так переполняют мою голову, что мне иногда становится за нее страшно. Но, что всего важнее, я во время процесса творчества, точно в религиозном экстазе, ощутительно познаю в себе сладкое присутствие моего неведомого бога. Голова моя пылает, по спине бегают холодные волны, волосы мерзнут и шевелятся на голове, дух мой ликует. А насмешливая судьба, точно нарочно, поставила меня в грустную невозможность воплотить до конца хоть один из этих дорогих мучительных образов. Погоня за куском насущного хлеба несовместима со свободным творчеством! Приходится с опасностью для жизни и рассудка лавировать между мечтами и славой и перспективой голодной смерти. Голод – самая плохая пища для вдохновения. Но ведь не могу же я с моим неудержимым полетом фантазии, с тем внутренним кипением, которое меня изнуряет, не могу же я сделаться писарем или сапожником!!

27-го ноября. Сегодня как раз я окончил двенадцатого Пушкина. Я так наловчился их лепить, что могу работать с закрытыми глазами, и все они похожи один на другого, как близнецы. Пушкиных теперь охотно разбирают, по случаю какого-то пятидесятилетия, но хозяин магазина, куда я поставляю статуэтки, недоволен моей работой. «У вас, – гово-

рит он сурово, – нет совсем разнообразия, нам нужны разные серии. У публики пестрые вкусы».

Меня иногда схватывает тошнота при мысли, что приходится размениваться на эту черную поденную работу. Я с ужасом вижу, как после недели работы над иным надгробным бюстом в профилях моих античных борцов начинают появляться тяжелые, геморроидальные черты, напоминающие лицо начальника департамента или купца первой гильдии. Но что же делать, если десять-двадцать рублей позволяют мне в продолжение целого месяца быть хозяином моего вдохновения?

28-го ноября. Почему-то принято всеми, что пьяный человек близок к идиотскому состоянию. Поразительно неверное заключение! Я должен, между прочим, сознаться, что пить водку вошло для меня в привычку именно на этой проклятой квартире, которую хозяйка из экономии и благодаря моей неаккуратности почти совсем не топит. Сначала я ограничивался двумя или тремя рюмками, чтобы согреться, но потом это количество перестало меня удовлетворять. Теперь я пишу почти пьяный. Мысль работает страшно сильно и притом с удивительной точностью: постигает такие тонкие подробности своих ощущений, которые трезвый ум непременно выпустит из виду.

Только вот язык и ноги не повинуются, и глаза плохо слушают: именно все предметы теряют резкие очертания и как будто засыпаны песком. Но это ничего не значит: извест-

но, что многие великие мастера создавали свои бессмертные произведения в том самом состоянии, в котором я теперь нахожусь. Я хотел сегодня работать: у меня есть в виду одна важная вещь, но пролежал на том собачьем ложе, которое хозяйка зовет кушеткой, и мечтал о славе.

29-го ноября. Я проснулся ровно в полдень со страшною головною болью. Странный сон снился мне этой ночью. Я видел себя стоящим где-то на окраине города. По всей вероятности, была осень. Ветер гудел в телеграфных столбах; мелкий, но необыкновенно частый и холодный дождь застилал все предметы тускло-серым покровом. Начинало смеркаться, и сердце мое сжималось ожиданием несчастья…

Вдруг сзади меня послышался топот нескольких десятков лошадиных ног. Я обернулся назад и увидел странное зрелище: десять или двенадцать всадников, одетых с ног до головы в черные одежды, мчались попарно со страшною быстротой; на их громадных лошадях были надеты черные попоны с круглыми отверстиями для глаз. Всадники неслись быстро, не оборачиваясь ни назад, ни в стороны. Каждый из них держал в руке смоляной факел, который горел красным, сильно коптящим пламенем. Я понял, что кого-то хоронят, и действительно, из-за угла тотчас же показался катафалк, который три пары траурных лошадей везли так скоро, что не отставали от всадников. Черный гроб весь был завален яркими пунцовыми розами. Я побежал за этой страшной процессией и вскоре очутился вместе с ней на кладбище. Это было

чрезвычайно печальное место: обнаженные деревья скрипели и качались, роняя на землю холодную воду; пахло сырой землею и гниющими на ней желтыми листьями.

Всадники сняли гроб и начали опускать его в яму, но верхняя крышка не была закрыта, и я увидел в нем мраморную статую, изображающую девушку необыкновенной, божественной красоты. Она покоилась на ложе из яркой зеленой травы и вся сплошь была одета красными розами и камелиями. Не знаю сам, каким образом, но я сразу узнал ее – это была спящая Психея!

Я кинулся к людям, опускавшим гроб, и кричал и плакал, уверяя, что лежащая в гробу – жива; они захохотали и грубо оттолкнули меня. Но я опять пробился к гробу, обхватил руками прекрасное холодное тело и очутился вместе с ним в могиле. Сверху посыпалась земля… все больше и больше…

Наконец мне нечем стало дышать, я хотел крикнуть, – но мой голос звучал шепотом; я сделал отчаянное движение и проснулся.

30-го ноября. Сегодня опять день пропал даром. Мои «Борцы» мне вдруг ни с того ни с сего опротивели; не могу я видеть этих здоровых, грубых мускулов! Для чего же, спрашивается, в таком случае я их с любовью вынашивал целые месяцы, для чего ходил на морозовскую фабрику, где за двугривенный заставлял бороться фабричных парней? Но зато весь день я думал о той дивной статуе, с которой вместе лежал в могиле. Где же я раньше видел это прекрасное,

спокойное лицо, это тело, нежное, как у девочки, с едва обозначавшимися формами груди, гибкое и грациозное, в то же время наивное во всей своей наготе? И почему же это непременно Психея, а не Дафна или не Флора? Меня интересует психология сна, и я много читал по этому предмету. Я очень хорошо знаю, что во сне нельзя увидеть ничего такого, чего когда бы то ни было не видал в действительности. Стало быть, и я мою Психею должен был видеть.

Но где же? Я перебираю в уме всех классиков и положительно не могу припомнить. Странно знакомое лицо, но описать его нет никакой возможности: что-то прекрасное в высшей степени и в то же время донельзя простое! Когда я хочу вызвать его в памяти – оно не является, но стоит мне хоть на секунду задуматься о чем-нибудь другом, оно вдруг так и всплывает перед глазами.

2-го декабря. Я едва имею время, чтобы вымыть руки, перепачканные глиною, и набросать несколько строк в эту дурацкую тетрадь. Вот уже третий день, как я, не отрываясь, леплю мою Психею. Нервы мои ожили, работа идет легко и быстро, и каждый вечер, ложась в постель, я ощущаю состояние полного равновесия ума и сердца, – состояние, близкое к блаженству.

Некоторые ваятели изображают Психею совершенно физически развитой женщиной: непостижимое заблуждение! Психея – почти девочка, она мала ростом и должна производить впечатление еще невыровнявшегося, но прелестного

подростка, который едва начинает сам смутно и стыдливо познавать свое превращение из ребенка в девушку. Но, кроме этого, я сделал еще более крупное открытие: никакое тело, кроме девственного, не имеет права быть изваянным или высеченным из какого бы то ни было материала, потому что ваяние есть самое чистое, самое возвышенное и непременно самое целомудренное изо всех искусств. Поэтому скульптор должен работать, не имея перед глазами не только живой натуры, но даже и манекена, а в особенности все губит живая натура. Ибо если к воплощаемой в мраморе мечте примешается тяжелая и грязная действительность, то место мечты заступает порнография. Не даром же в нашем многовековом искусстве употребляются лишь самые простые инструменты: руки и две-три деревянные палочки.

Эту тетрадь читать, кроме меня, никто не будет, и потому я буду говорить до конца: и Фидий, и Канова, и Торвальдсен, несмотря на всю мощь гения, не могли отрешиться от грубых будничных чувств в своей личной жизни. Только тогда скульптор и в состоянии сотворить великое, если он сам чист и целомудрен.

Я изображаю Психею спящей. Говорят, что фигуры лежа проигрывают, но меня это не останавливает.

4-го декабря. Боже мой, сколько мучений, сколько адского труда, и ничего, ничего! Не могу никак вспомнить ту Психею, которую я видел во сне. С утра до вечера я работаю до одури, до истощения, и ничего! Передо мной не спящая Пси-

хея, а пикантный сюжетец в сладостной истоме.

Нет! Я, должно быть, заработался; нельзя, в самом деле, не снимать шесть дней подряд рабочего халата. Попробую немного отдохнуть.

6-го декабря. Какой же это, к черту, отдых? Двое суток не встаю с дивана, и меня душит самый безобразный кошмар. В уме моем самым непостижимым образом перемешались события всех дней. Порой я никак не могу решить, происходил ли какой-нибудь известный факт сегодня утром, или вчера, или, наконец, целую неделю тому назад, или я читал о нем в книге, или видел во сне.

Вообще я замечал уже не раз, что память у меня очень быстро тупеет, в особенности с того времени, как я бросил все знакомства и почти перестал разговаривать вслух.

Она, точно у старика, свежа еще по отношению к случаям моего детства, но чем ближе к настоящему времени, тем более она становится сбивчивой и туманной. Большую часть дня я сплю и вижу тысячи снов, и в этих снах я также вижу себя лежащим на диване, повторяющим тысячу раз одно и то же, обыкновенно самое глупое слово, и не знающим, куда деваться от тоски. Эти пошлые сны так тесно переплетаются с пошлой действительностью, что я временами долго и мучительно раздумываю: где кончается одно и где начинается другое? Иногда я как будто бы отрезвляюсь и с отчаянием хочу выбраться из этого чертовского полуобморока. Хочу встряхнуться, рассеяться хоть немного, но через несколько

времени сонное колесо опять начинает меня завораживать.

Ночь для меня ужасна! Я не сплю вплоть до рассвета и порой со страхом, порой с удивлением созерцаю громаднейшую вереницу картин, статуй, животных, знакомых и незнакомых лиц, которые появляются перед моими глазами без участия моей воли и уходят против моего желания. Некоторые лица просто уродливы. Они кривляются, делают страшные глаза и высовывают языки, и когда одно из них уже близко подойдет к моей физиономии, мне становится мерзко, точно от прикосновения палача. Чтобы избавиться от этих галлюцинаций, я выпиваю несколько рюмок водки, и мне легче. Не пойти ли к доктору?

8-го декабря. Случайно погляделся нынче в зеркало. Я не видел себя недели три и просто испугался, когда на меня глянуло длинное, зеленое, страшно исхудалое лицо с обтянутыми, точно у мертвеца, скулами, со впалыми, окруженными черным глазами. Я просто ненавижу свою наружность. Говорят, что человек – венец творения. Поглядели бы они на тот венец, который в настоящее время представляет моя персона!

10-го декабря. Сумею ли я передать все, что произошло сегодня ночью? До сих пор еще не могу прийти в себя от той массы ощущений, которые мне пришлось пережить. Словами не выразить и сотой доли, но все-таки постараюсь рассказать все по порядку. Среди ночи я проснулся, точно кто-то назвал меня по имени. Это со мной часто случается, ес-

ли мне в лицо слишком сильно светит луна. Вся моя комната была залита потоком серебряно-зеленого света и казалась совсем незнакомой, стены как будто выросли и раздались в стороны, все предметы высматривали странно и подозрительно. Я каким-то внутренним чутьем понял, что сейчас, именно в эту минуту должно произойти событие громадной важности. Мой взгляд упал на Психею. Она лежала на полу; ее тело, обложенное мокрыми тряпками и проникнутое нежным матовым сиянием, казалось прозрачным. Машинально схватил я стек и подошел к ней и, точно повинуясь чужому влиянию, пообозначил несколько линий… И вдруг я вскрикнул и задрожал от восторга: передо мной лежала та самая Психея, которую я видел во сне и дивный образ которой так тщетно старался припомнить! Разве есть в человеческом языке средства, чтобы изобразить ту бурную радость, которая поднялась в моей душе!! Теперь я понял, отчего ее лицо казалось мне таким простым и знакомым. Она есть тот прототип божественной красоты и гармонии, стремление к которому вложено в душу каждого человека со дня его рождения и который человечество окрестило избитым названием «идеала». Нам, художникам, судьба дает средства постигнуть его, но до этой великой ночи все мы мучительно и бесплодно гонялись только за его призраком. А я, я, бледный, некрасивый, изможденный ваятель, я достиг того, что казалось до сих пор невозможным, я схватил это невозможное и заключил его в крепкие, осязаемые формы. О! Я прекрас-

но понимаю, что здесь мой талант ни при чем и что моей рукой водил случай. Но именно вследствие этого-то никто и не должен, кроме меня, видеть Психею, потому что если когда-нибудь и дойдет человеческое искусство до такой совершеннейшей степени, то разве через десятки столетий. Человек раньше узнает и подчинит себе все те силы природы, которые теперь его самого порабощают, и когда в конце концов доберется до последнего, до этой вечной истины и вечной красоты, то он уже перестанет быть человеком. А теперь только одному Богу известно, какие последствия может вызвать всенародное появление моей Психеи. Она должна столетия пролежать на земле, подобно творениям древних греков, пока не настанет ее время и сама судьба не извлечет ее, как светильник, который должен светить на горе.

Число не проставлено. Я не писал несколько дней по причине нестерпимой головной боли. Минутами мне кажется, будто кто-то ломает мой череп на части, и каждое движение причиняет чудовищную боль. Кстати: на последние деньги я послал сегодня за гипсом.

Числа нет. Едва только в комнате стало темнеть, я тщательно закрыл занавески, зажег лампу и долго-долго стоял, безмолвно созерцая неземную красоту моего создания. Ведь – что замечательно: все, чем только с незапамятных времен ни увлекался человек до безумия: слава, чувственность, патриотизм, долг, честь, все наслаждения мира, – все это может приесться и наскучить, но это восхищение, которое я теперь

испытываю, не надоест никогда! Я задаю себе вопрос: что было бы, если б она была живой женщиной? Мне кажется, ее кто-нибудь должен был бы убить, точно так же, как я через несколько дней закопаю ее в землю. Но до этого времени она только моя, и красота ее принадлежит одному мне.

Моя! Ах, если бы это слово не было так осквернено тысячами человеческих вожделений! Удивительно странная моя судьба. Мне теперь тридцать пять лет, и я совершенно изможден жизнью. Но даже во время моей первой молодости для меня не существовало обаяния женской ласки. Может быть, вследствие особенной болезненности организма я в ней никогда и не нуждался. Когда женщины избегали всякой встречи со мной, всегда отличавшимся выдающимся безобразием, то это не только не оскорбляло моего самолюбия, а скорее радовало. Я никогда не знал женщины, не знал ни поцелуев, ни пожатий рук, ни влюбленных взглядов. И вот, как будто бы удовлетворяя чувство справедливости, судьба послала мне самое чистое, невероятно высокое счастье, которому, конечно, ничего подобного не испытывают все осквернившиеся нечистой любовью к женщине. Но это еще не все: я знаю, я предчувствую, что для меня здесь скрываются еще большие наслаждения, но до времени одеты тайной! Ах! Теперь я закончил формовку в гипсе, и она лежит передо мною ослепительно-белая.

15-го декабря. Позабыл в дневнике проставлять числа; впрочем, до того ли мне было. Сегодня хозяйка грустным го-

лосом объявила мне: так как у нас сегодня 15-е декабря, то из этого следует, что я ровно три месяца не платил за квартиру. Бедная женщина, кажется, жалеет меня и отчасти немножко побаивается. Впрочем, что же тут мудреного: не даром же в языке простонародья названия «артист» и «художник» сделались синонимами или сумасшедшего, или жулика.

Я пишу, и меня беспокоит весьма странное обстоятельство: я забываю некоторые буквы, и припомнить их стоит мне большого труда. Отчего это? Но это не важно! Мне пришла в голову одна очень богатая мысль. Если пословица разрешает каждому барону иметь свою фантазию, то кто же может запретить раз во всю жизнь побаловаться ею свободному художнику? Я придумал вот что… Не помню, писал ли я в дневнике или нет о том сне, когда я «ее» увидел в первый раз в гробу? Кажется, что писал! Я хочу целиком восстановить в действительности это первое впечатление, то есть положить ее в хороший сосновый гроб, обитый темным бархатом и устланный зеленью. Только где достать денег?

16-го декабря. Сегодня ко мне зашел Сливинский, мой коллега по академии. Это очень странный человек. На первый взгляд он производит впечатление помешанного: волосы у него постоянно взъерошены, взгляд то блуждает без цели, то вдруг неподвижно и пристально останавливается на лице собеседника, которого, однако же, в это время Сливинский не видит и не слышит, занятый своими мыслями. Иногда он внезапно прерывает ваши слова каким-нибудь вопросом,

который не имеет ничего общего с происходившим разговором, а является результатом его собственных размышлений. Он ужасно рассеян, страстно любит женщин, чем часто бывает мне противен, и всюду ищет приключений. В жизни он совершенный ребенок, и, если в его присутствии разговор заходит о житейской прозе, Сливинский молча грызет ногти. Его конек – психология вообще и психология женского сердца в особенности. Я люблю изредка с ним разговаривать, потому что мне иногда приходят в голову такие удивительные мысли, которые всякому, кроме Сливинского, покажутся сумасшедшими. Но он меня понимает с полуслова и даже знает наперед, что́ я скажу, – это у него какой-то необыкновенный дар. Временами же, когда нам особенно часто приходится видаться, мы так глубоко залезаем друг другу в самые сокровенные уголки души и выкапываем оттуда такую дрянь, что становимся злейшими врагами. Я услышал его голос еще на лестнице и хотел было послать сказать, что меня нет дома, но было уже поздно: я едва успел стащить с кровати простыню и покрыть Психею. Ни один человек, покуда я жив, не увидит ее!

– Что у тебя за вид такой? – спросил Сливинский, не успев еще поздороваться и разглядывая самым бесцеремонным образом мою фигуру.

– То есть как это какой вид? Рога у меня, что ли, на лбу выросли? – спросил я нарочно грубо, чтобы отвлечь его от этого щекотливого направления.

– Нет, не рога. Рога – это бы еще куда ни шло, а вот лицо у тебя как выжатый лимон стало, а под глазами синяки.

Я молчал.

– А знаешь, брат, что? – вдруг быстро и волнуясь спросил Сливинский, – тебе не приходит в голову, что ты скоро должен умереть?

– Перестань, пожалуйста.

– Ты не веришь? Но я в твоем лице ясно вижу черты особенной духовной красоты. Понимаешь? Я часто наблюдал, когда лежал в клинике: у нервных людей за несколько недель до смерти видно, как дух, освобождаясь, разрушает свою темницу. Впрочем, бросим об этом. Чем ты теперь занимаешься? Работаешь?

Ага! Мне приходится хитрить! Впрочем, я раньше знал, что так будет. И я отвечал так равнодушно, что даже сам себе удивился: ни один талантливый актер не овладел бы тоном так естественно:

– Вот лежу на диване, понемножку думаю о бессмертии, с хозяйкой по вечерам беседую; вообще провожу время занимательно и не без пользы.

Сливинский уперся в мое лицо своим тяжелым взглядом.

– Все это ты врешь, братец, – заключил он внезапно, – у тебя теперь внутреннее кипение идет. Ну, да ладно, на откровенность я не напрашиваюсь. Я к тебе вот зачем пришел: представь себе, спиритизм, если с ним поближе познакомиться, вовсе, оказывается, не такое шарлатанство, как о

нем протрубили!..

И он со свойственным ему пылом и красноречием начал излагать свою невероятно смелую, но в то же время не лишенную остроумия теорию медиумизма.

Воспользовавшись его минутной остановкой, я спросил:

– А ты что же делал за это время? Что ты мне о себе ничего не расскажешь?

– Я палец о палец не ударил, – отвечал Сливинский, необыкновенно быстро оставив своих стучащих духов. – И знаешь почему? Во-первых, потому, что у меня оказывается призвание вовсе не к скульптуре, а к женщинам; любовь к женскому телу, должно быть, и заставила меня заниматься нашим искусством. А во-вторых, и это я уже говорю совершенно серьезно, наше с тобой искусство – страшно бедное искусство: оно холодно, как мрамор, с которым ему приходится иметь дело, и так же чисто. Может быть, я и ошибаюсь, но, по-моему, скульптор, которому предстоит создать что-нибудь бессмертное, должен быть таким отшельником и психопатом, как ты…

Удивительная странность: этот человек всегда высказывает то, о чем я думаю, но не решаюсь выразить словами, недаром же я его называю своей совестью. Интересно только, какими различными путями приходим мы к одним и тем же выводам.

– Знаешь ли, – продолжал между тем Сливинский, и я сразу, по нежным тонам, зазвучавшим в его голосе, узнал, что

он заговорит о своем любимом предмете, – из меня, пожалуй, мог бы выйти какой-нибудь прок раньше, но теперь я так опустился нравственно, что погиб для искусства. Меня не удовлетворяет эта строгая чистота линий, этот безжизненный гипс. Живописцем я еще мог бы, пожалуй, сделаться, но потому, что у живописца в распоряжении краски, цвета, оттенки. Живопись чувственнее. Но я не хочу приписываться ни к какому цеху. Молодость дается человеку один только раз и уж, конечно, не для того, чтобы погубить ее, погрузившись, как это сделал ты, с ногами и руками в одно искусство. А смешивать два эти ремесла есть тьма охотников – я не из их числа. Я не знаю, что с собой самим делать, но зато наслаждаюсь мудро всеми дарами, которые доставляет человеку благая природа и его изощренный ум, причем на первом плане, конечно, ставлю женщин и женщин.

– И ты думаешь, тебе это «ремесло» не надоест?

– Никогда! Видишь ли, голубчик, я принадлежу к числу тех избранников, которые развили в себе такую тонкую и чуткую восприимчивость, что наслаждаются больше деталями, аксессуарами, так сказать, любви, чем самой любовью в грубом смысле. А так как эти аксессуары так же бесконечно разнообразны, как разнообразны характеры человеческие, то, следовательно, для меня будет всегда существовать прелесть новизны. Эх! Жаль, что ты выродок какой-то и не сможешь понять меня. Знаешь ли ты, например, сколько тайной неуловимой прелести заключает в себе постепенное

сближение с женщиной: эти робкие намеки в то время, когда глаза сказали все, эти ссоры и подавляемые вспышки ревности, это первоначальное замешательство… Да ты, впрочем, ничего не понимаешь.

– Отлично понимаю, что это только гастрономический разврат! – перебил я с неудовольствием.

Сливинский поглядел на меня с удивлением. Он как будто не считал меня возможным на такое возражение.

– Может быть, ты и прав, – протянул он задумчиво, но тотчас же снова весь оживился. – Да! Но сколько в этом разврате борьбы, сколько раз приходится напрягать все способности ума, всю силу воли! Послушай! Ты знаешь, до чего может дойти воля человека? Думал ты об том когда-нибудь?

На этот раз я заметил, что Сливинский с интересом ожидает моего ответа.

– Я не ручаюсь, вполне ли я понял твой вопрос, – отвечал я, – но если ты, так же как и я, под понятием о воле подразумеваешь всякое хотение жизни, то ведь тебе должно быть известно, что я всегда ставил человеку в заслугу возможно большее отрицание этой самой воли.

– Ах, оставь ты в покое прах своего Шопенгауэра! – досадливо воскликнул Сливинский. – Я тебя спрашиваю про волю в житейском смысле, то есть в смысле силы самых прозаических желаний. По-моему, эту силу желания каждый человек, даже и мы с тобой, можем довести до таких гигантских размеров, что для нас в мире ничего не будет невозможного!

Оказывается, по мнению Сливинского, волю можно развить путем постоянной упорной гимнастики, состоящей в том, что ежеминутно делать все противно своему желанию. Если мне есть в данную минуту хочется – я должен терпеть до крайности, хочется лежать – должен ходить, люблю спать на мягком – должен приучить себя спать на камнях и т. д. Затем, когда человек совершенно подчинит себе таким порядком свою волю, то все окружающие его, не только люди, но даже и животные, невольно и незаметно начнут подчиняться силе его желаний. Тогда для человека нет ничего невозможного, кроме препятствий, представляемых временем.

– Понимаешь ли, – горячился Сливинский, – что, настойчиво и неутомимо преследуя одну идею, я могу не только папой римским или китайским императором сделаться, но даже величайшим гением или ученым. Слыхал ли ты о том, как один негр, безграмотный раб, довел свою память до такой остроты путем упражнения, что мог повторить наизусть около пятисот продиктованных ему восьмизначных цифр? Да это что еще! Я тебе приведу лучшие примеры. Ты думаешь, почему Наполеон из простого поручика сделался величайшим в истории императором? Ты думаешь – одно счастье? Да, конечно, отчасти и счастье, потому что с его предприятиями нередко совпадали благоприятные комбинации случайностей, но главным образом – сила желания. Там, где мы с тобой десятки тысяч раз упустим из рук наш случай, человек, твердо решившийся, воспользуется им, не останавлива-

ясь ни перед риском, ни перед святостью традиций, ни перед сотнями кровавых жертв! Сила желания и уверенность! Это – всё, это – знаменитый Архимедов рычаг. В Священном писании сказано, что имеющий веру в горчичное зерно может сдвинуть с места гору. И это доступно всякому необыкновенно напряженному желанию. Исцеляют же факиры больных и воскрешают покойников!..

Я не узнавал Сливинского: он весь точно вырос и похорошел, глаза его горели огнем вдохновения, и голос звучал сурово и настойчиво.

– Отчего же ты в таком случае со своей странной теорией остаешься до сих пор простым шалопаем? – спросил я через некоторое время.

– Отчего? Оттого, что не хочу, но я испробовал мою волю над женщинами, к чему, собственно, и клоню речь. Запомни это великое изречение, – со временем, когда ты будешь писать обо мне свои воспоминания, оно тебе пригодится: нет такого мужчины, который, владея гибкой и сильной волей, не покорил бы себе любой женщины. И не только женщины с больным воображением или с тем, что зовется темпераментом, но даже неприступной, как богиня, и холодной, как статуя.

– По-твоему, пожалуй, и настоящую статую можно также загипнотизировать?

Я чувствовал, предлагая этот вопрос, как побледнели мои щеки. Точно заглянул в черную пропасть: и жутко и весело!

– Можно, – серьезно отвечал Сливинский. – Ты вспомни миф о Галатее, а ведь, как известно, нет ни одного мифа без основания. Да я тебе уже сказал раз, что нет ничего невозможного для сильной воли. Наконец, если ты и не оживишь статую, то ты сам, понимаешь, сам поверишь, что сделал это.

Сливинский скоро стал прощаться и, уходя, спросил:

– Что это у тебя покрыто простыней? Можно взглянуть?

Если бы я кинулся на него и схватил бы его за горло, как мне хотелось это сделать в первую минуту, то этот диковинный человек, пожалуй, насильно добрался бы до моей тайны. Но я не двинулся с места, протянул ему для прощанья руку и ответил, собрав все присутствие духа:

– Так, труха разная валяется.

Однако я и не подозревал никогда в себе такого запаса хитрости и самообладания! Тотчас по уходе Сливинского сделал ширмы из простынь и занавесил ими тот угол.

Числа нет. Голова моя кружится, руки дрожат и отказываются повиноваться. Не знаю, буду ли я в состоянии собрать мысли, чтобы связно передать все случившееся.

Когда наступила ночь, я опустил занавеску и зажег лампу. В комнате сразу стало как-то строго и таинственно. Глаза мои не могли оторваться от белых ширм, загораживающих угол: казалось, за ними происходила какая-то неслышная и незримая жизнь. Меня неудержимо тянуло за эти ширмы, но я медлил и, охваченный лихорадкой, старался растянуть это жгучее ожидание как можно дольше. Наконец волнение

мое возросло до нестерпимости, и я решился. Глубоко затаив дыхание, осторожными, неслышными шагами подошел я к простыням, спускавшимся с потолка, и раздвинул их дрожащей рукой. В этой маленькой внутренней комнатке в три шага в квадрате была сладкая и чуткая тишина, какая может быть только в святилище. Она лежала на широком, грубом холсте, с ног до головы укрытая простыней, слабо обрисовывавшей ее чудные формы. Она лежала на спине, несколько согнув левую ногу. Голова ее, склоненная немного набок, покоилась на левой руке, а правая небрежно спускалась на землю.

Я не скажу, чтобы мне было страшно; если бы она в эту минуту поднялась со своего каменного ложа и обратилась ко мне со словами, я не испугался бы: я даже как будто ожидал того. Но я с трудом владел своими членами: они отяжелели, точно насыпанные песком, в глазах чрезвычайно быстро мелькало множество мелких блестящих точек…

И вот, хотя я и все время строго следил за своими ощущениями, я явственно заметил, что простыня, покрывающая возвышение груди, медленно опускается и поднимается, колеблемая тихим дыханием. Сердце мое билось в груди, как барабан, и все время ныло какой-то томительной, сладостной болью… Затем я теряю нить. Помню только, как я тихо опустился на колени, склоняясь головой к полу, как осторожно приподнял уголок простыни, как приблизил свои губы к ее ноге… Но, когда я ощутил губами ее холодное те-

ло, – нестерпимо сладкая боль около сердца вдруг мгновенно вспыхнула и разрослась, как пламя, облитое спиртом… На секунду у меня мелькнула мысль, что это смерть. Должно быть, со мной был обморок, потому что когда я открыл глаза, то сквозь щели занавесок уже брезжил утренний свет.

Что же все это значит? Или прав был Сливинский, говоря, что я должен скоро умереть? Ну, что же? Я готов встретить смерть, как любимую гостью, потому что после того мига наслаждения, который мне доставила прошедшая ночь, разве может жизнь увлечь меня чем-нибудь? Ах! Как я благословляю то, что мне в детстве казалось таким ужасным несчастием, что заставляло моих товарищей всегда отворачиваться с презрением от меня! Оно одно только сберегло меня от растления и, лишив главной человеческой радости, дало судьбе возможность с избытком вознаградить меня.

Числа нет. Сегодня я первый раз за два месяца вышел на улицу. Должно быть, я производил на прохожих весьма странное впечатление, потому что все они удивленно оглядывали меня с ног до головы. Морозный воздух совсем опьянил меня, глаза слипались от сверкавшего на солнце снега, а ноги, отвыкшие от ходьбы, подгибались и шатали во все стороны мое слабое тело. Кроме того, надо полагать, что мое пальто с приставшим к нему пухом и с ватой, обильно вылезшей из дыр, довершало общее впечатление. Проходил напрасно целый день и не достал ни копейки. Придется отложить мысль о гробе. Господи! Что со мною делается?

То же. Почему у меня не идут из ума горячечные речи Сливинского? Целый день я о них думал и прихожу к таким выводам, которые меня самого пугают. Сливинский говорил, что для воли нет невозможного. Нужно, следовательно, только уметь напрягать эту волю, уметь желать настойчиво, страстно, неутомимо! Я отлично сознаю, что не может вещь, сделанная из камня, сама, по собственному побуждению встать с места и подойти ко мне. Но ведь странствуют же загипнотизированные субъекты по морям и лесам, которых на самом деле не существует? Стало быть, испытывают же люди то, чего, в сущности, нет и что испытано быть не может. Впрочем, в этом вопросе сам черт ногу сломит…

То же. Я опять проснулся среди ночи от неожиданного толчка и быстро сел на постели. Луна светила необыкновенно ярко, и, казалось, в ее лучах проносился однообразный журчащий шепот.

Видел ли я во сне что-нибудь или раньше, еще днем, думал о каком-нибудь важном деле, но мне казалось, что забыл нечто очень важное, и все старался припомнить. И вдруг, точно молния, мой мозг озарила страшная мысль: «Надо уметь желать». Я с большим трудом поднялся с кровати и опять с тем же сладким замиранием в сердце прокрался за перегородку. От холода, волнения и слабости мое тело шаталось, трепетало, челюсти часто и неприятно дрожали и стучали друг о друга. Осторожно и медленно, боясь потревожить чуткий сон Психеи, стащил я с нее простыню; она не

шевельнулась ни одним мускулом, и только грудь ее едва заметно поднималась и опускалась.

О, сколько всемогущей красоты было в ее спокойном лице, в нежном, полупрозрачном, нагом теле! Я собрал весь запас силы воли, и, сжав кулаки так крепко, что ногти вошли в мясо ладони, я до боли стиснул зубы и сказал повелительно и уверенно: «Проснись!»

И вдруг среди жужжащей тишины раздался глубокий, прерывистый вздох. Неподвижное лицо оживилось улыбкой, глаза открылись и нежно встретились с моими глазами! Блаженное и острое ощущение около сердца опять вырвалось и хлынуло по всему моему существу чудовищным потоком. Я закричал и рухнул вниз; но, прежде чем лишиться сознания, я почувствовал, как холодные, обнаженные руки сомкнулись у меня на шее.

То же. Я не понимаю, что значит эта мрачная комната с решеткой, из-за которой выглядывают какие-то странные усатые лица! Или это та самая темница, из которой, как говорил Сливинский, должен освободиться мой дух?

То же. Боже мой! Как трудна победа! Временами я бьюсь головой в стены моей темницы, рву на себе волосы, вырываю из своего лица куски мяса.

Когда же все это кончится?

Число не проставлено. Победа! Руки не повинуются мне больше, легкие с каждым дыханием захватывают все меньше и меньше воздуха. Но в недосягаемой высоте, сквозь волны

лучезарного света, я уже вижу твою нежную улыбку, мое божество! Моя Психея!